

О Ч Е Р К И

ДМИТРИЙ Аксельрод

Р А И С А

Наконец, Светловы получили разрешение на выезд.

Я уже писал, что у них был открытый дом, где все чувствовали себя очень тепло и уютно. Но это был дом, несомненно, насквозь просматриваемый и прослушиваемый, и только когда все до последней пылинки было просвечено и прошупано, их отпустили.

А сколько им пришлось претерпеть, бедным! Овир играл с ними, как кошка с мышками, вселял надежду, тянул, выдвигал все новые требования, без конца придирался, и снова, и снова отказывал. Отчаявшись, они отослали свои паспорта в Верховный совет, отказались от гражданства. Но и это не помогло, паспорта им прислали обратно. Они голодали. Георгий выдержал месяц, зато Неля отголодала целых два. Милая, маленькая Нелечка голодала, как-будто играла, легко, весело, только стала еще меньше и личико сжалось в кулачок, зато сделалось прозрачным и засветилось, как навощенный бумажный фонарик.

А георгий голодал тяжело. Он вообще всех тяжелее выносил эту борьбу. Был он малый очень жизнерадостный, обладал способностью бурно всему радоваться, смеяться по любой причине и без всякой причины, за что получил прозвище — "Кайф". Смеялся он необыкновенно заразительно, со стонами и взвизгиваниями. Нужна была стопудная тяжесть более чем годовалой борьбы с Овиром, чтобы поутих этот победный пиршественный смех. В конце голодовки он стал заговариваться и вскоре был помещен в больницу имени Скворцова-Степанова.

Помню, как он нервничал, когда они отослали паспорта.

■ У него уже были явные признаки психического расстройства, напоминавшие белую горячку, хотя он не был пьяницей. Он на всех кричал, выходил из себя. Домочадцы ушли из комнаты, остались мы вдвоем. Лицо его стало озабоченным и каким-то вроде

прислушивающимся. "Черти кругом. Вон, и на стуле сидит один", — проговорил он шепотом.

Я взглянул на стул, но никого там не заметил.

И вот, когда они уже потеряли всякую надежду, и как-то даже смирились, пришло разрешение. Они вроде-бы и не радовались, кроме Георгия, конечно. Он тут-же вернулся домой, расстройство его моментально кончилось, и принялся ликовать за всю семью.

— Сон. Я живу, как во сне, — говорил он, блаженно замуриваясь и светясь, как икона.

Как и у всех отъезжающих, у них было много хлопот, оформление бесконечных документов, распродажа их нищенского скарба. И где бы им взять столько денег, если бы не помощь верной Эмилии Павловны. Она поручилась за них на три тысячи рублей, а уезжающие, имевшие лишние деньги, должны были отдать их Светловым, взамен чего за границей получали уже в той валюте. Деньги нужно было получить в Москве.

И тут плохую услугу Светловым оказала одна женщина, звали ее Раиса Краб. Я был знаком с ней, у нас даже было некое подобие романа. Познакомился я с ней вот как: Ушаков, уезжая, не успел отдать мне моей рукописи, называлась она — "Последний дон-Жуан". Он оставил ее у этой Раисы и дал мне ее адрес. Спустя примерно месяц, я поехал к ней, забрать рукопись. Она жила на Невском проспекте, напротив Казанского собора.

Ехал я к ней в том состоянии заинтересованности и волнения, какое так хорошо описано Бальзаком в "Тридцатилетней женщине". Воображение рисовало внешность таинственной незнакомки, предугадывал будущий возможный роман. Она оказалась вполне заслуживающей такой игры фантазии — маленькой, хорошо сложенной женщиной с черными глазами, вздернутым носиком и нежным голоском. Жила она вдвоем с маленькой дочкой. В комнате напротив жили ее неродные родители, удочерившие ее во младенчестве. Кровные ее родители погибли во время войны. Квартира была коммунальной.

Раиса сразу же заявила, что грешит тем же грехом, что и я — пописывает. И даже призналась полущутливо в грехе графоманства.

Отдавая мне мою рукопись, она изобразила на лице выражение чуть ли не отвращения. Со смехом, я скорее резюмировал, чем спросил: не понравилось. Она зафукала, заплевалась, заявила высокомерно, что не читала, едва раскрыв, бросила, такая, мол,

мерзость. Однако ж, разбор вещи показывал прекрасную ее эрудицию. Впрочем, это был не разбор, а разнос. "Неэтично, неестественно, ффу, ффу! Натуральность, бесстыдство описаний, ффу, ффу, ффу, — плевалась она, сжав губы, с инквизиторским огнем в глазах. — Вспомните классиков, — Толстого, Достоевского, — как целомудренно они писали.

— Новое время, новые песни, — защищался я. — Возьмите любого из современных западных писателей, мой стиль образец благопристойности в сравнении с ними. И потом, целомудрие Толстого вынужденное, его заставляли писать так, приглаживать, причесывать, выколачивать. А первоначальная редакция была очень далека от целомудрия, сама жена его об этом пишет. Это она и принуждала его переделывать, так же, наверно вот, ффукала. А Луначарский называет Толстого ругателем и матерщинником. Наши поздние представления о классиках, — это ведь хрестоматийный глянец.

Тогда она зашла с другой стороны. — Господь у вас, слизняк какой-то, ффу-ффу, ффу!

— Что же вы хотите от старого человека?! Зато, он добрый, кроткий, милосердный, — я уже понял, куда она гнет. Доброта ей нужна, как бы не так!

Она снова повернула на сто восемьдесят градусов.

— Ну, знаете, если сцена, где Господа, извините, описали, — верх благопристойности! До такого, по-моему, еще никто не додумывался!

— А что, хотя бы из этих соображений. Ведь сказал же Гете, что талант — это смелость, — отшучивался я. — И разве это не здорово! Представьте, какой прилив сил мог ощутить Господь, окропленный, как живой водой, мочей ядреной девки. Мочей пенистой, игристой, как шипучее молодое вино, как кумыс молодых кобыл. Вспомните Давида и Ависсагу. По-моему, этот эпизод не в таком уж несогласии с вашей моралью, если я правильно улавливаю.

— Там, где дон-Жуан насилует, — здорово! — вдруг признала она.

— Вот вы себя и выдали, — резюмировал я, не вслух конечно.

Вся ее критика была, в сущности, спором с некоторыми идеями, высказанными в дон-Жуане.

Как быть женщине? Она, как Буриданов осел. Признать правомерность бесстыдства — стыдно. Отказаться от него — значит отказаться от себя. Вообще, идея дон-Жуана враждебна идее женщины, поэтому она всегда идеализирует его, если можно употребить здесь подобное выражение. Она видит в нем воплощение физического мужества, тогда как он — воплощение мужества духовного. Макс Фриш говорит, что дон-Жуан — интеллигент, хотя он не носит очков. Но никакая женщина никогда с этим не согласится.

Я зачастил к Раисе и скоро увлекся. В какой-то мере и мне отвечали взаимностью, появлениям моим всегда были рады, хотя симптомов пылкой страсти заметно не было, надо признаться. Скоро обнаружилось, что она имеет даже матримониальные виды на меня. Что-то такое и у меня, вроде, было. Я ловил себя на желаниях остаться у нее в комнате, растянуться на ее широкой кровати, причем, не только с ней вдвоем, но даже втроем, с ее маленькой дочуркой, — извечные пошлые, идиллические вождения влюбленных.

Однако-ж, несмотря на увлечение, я проявлял строптивость и не предпринимал никаких шагов. И вообще старался не обнаруживать своих чувств. Дело в том, что у меня начали закрадываться подозрения в отношении ее характера. Но искушение было. Эта вот жажда очажка, шалашика с цыновкой и гречневой кашей, нежность к чужому ребенку.

При всем том, мы с ней ожесточенно спорили. Мы были очень разные. Раиса сердилась не на шутку, она принадлежала к тем натурам, которые не выносят противоречий и чуждых мнений. Я отдал ей на суд всего себя, все, что написал. Она не дала мне ничего. "Ах, эти затаенные души, истово, иступленно, до дрожи берегущие свое, заветное, выстраданное, в муках рожденное!" Нет, тут была, конечно, вражда, порожденная не только несходством характеров, но также вкусов и, главное, литературных. Оттого-то, она так меня ругала, не признавала моих писаний, моих, так сказать, творческих концепций. Приведу пример еще одной ее критики моей военной повести.

"Язык слишком прост и безыскусен. Нет грандиозных, эпических полотен, баталий, глубоких мыслей."

— Видали! Дура, заучившаяся, заумная дура! Где ж ей по-

нять, что сама тема диктует стиль. Какой же еще другой язык возможен там, где все ясно и просто, как смерть, как крестные муки? И какие еще могут быть тут глубокие мысли? А сама по себе простота языка, разве плоха? И что же такое эта самая эпичность? Уж не нагромождение ли огромного числа людей и эпизодов, как у многочисленных эпигонов и плагиаторов Толстого?

А как она все это изрекала! Пространно, эрудированно, увлеклась, замаршировала по комнате из конца в конец, ни дать, ни взять, учительница в классе! /Она окончила филологический факультет/. Наверно, в ней текла кровь монгол-завоевателей? И внешность ее об этом свидетельствовала, и местность, откуда она была родом, — где-то в районе бывшей Золотой орды. Какой-нибудь свирепый Тохтамыз ворвался в русские селения, жег, резал, грабил и насиловал, и понесла какая-нибудь из его жертв от окаянного семени, вытравить которое не могли и столетия.

Да, глядя на нее в тот момент, я понял, что имею дело с кровожадной воительницей, внешняя хрупкость которой, была, сплошь и рядом, маской, прикрывающей настоящую суть. В конце концов, ей просто нужно было меня уничтожить. Кстати, дочь ее подтверждала гипотезу о Тохтамызе или Чебурдызе. Это было существо маленькое чудовище. Только в самое первое время я не замечал этого, к дяде еще не привыкли. Но когда он стал ~~мн~~ своим человеком, ребенок решил, что можно не церемониться. Маленькое, психопатическое существо обнаружило очень недву́смысленные садистские наклонности, старалась достать вас чем-нибудь острым, колючим, горячим, уколоть иголкой, порезать ножницами, подпалить спичкой. И глаза ее при этом загорались диким, свирепым, кровожадным огнем, честное слово, страшно становилось. Такие глаза были, наверно, у ее прапрадедушки, когда он резал свою жертву саблей, поджаривал на огне или насаживал на копье.

Мама относилась к этим невинным шалостям дочери более чем снисходительно, даже еще поощряла /сопереживала/. И кроме того была воодушевлена тем ужасным, столь распространенным родительским эгоизмом, который благословляет, считая чуть ли не священной всякую, самую даже ублюдочную, прихоть своего дорогого дитяти. Даже себя она безропотно отдавала в жертву — такая самоотверженность мазохизма. Однажды, я все-таки высказался по этому поводу. Она очень рассердилась, чуть разрывом

не кончилось. После этого я уже полагался только на собственные силы, увертывался, как мог, от маленькой вождихи краснокожих.

Была еще одна причина, почему Раиса так изругала мою военную повесть. В той повести есть одна героиня, красивая женщина-санитарка, которая смотрит на несчастных мальчиков-бойцов с ненавистью и отвращением. Описана она мной отнюдь не с симпатией. Я понял, что Раису это ужасно злит, что сама она целиком на стороне этой женщины, что она такая же.

А чем ты докажешь, что Раиса именно такова? — могут спросить иные дотошные люди. — Она ведь не говорила этого прямо. "Не пойман — не вор".

А интуиция на что? Она, порой вернее всяких теоретических "про и контра". И потом, она достаточно часто проговаривалась, и чем дальше, тем чаще. Возьму на себя смелость сказать, что все ее доводы, вся философия были рождены не в голове, не в сердце, а совсем в другом месте.

Иногда мы вместе выходили в люди. Бывали у Светловых, у Надежды Михайловны, с которой Раиса была близка. Надежда Михайловна готовилась к отъезду. У нее было много хлопот и забот. Не было денег, все были бедны, как церковные крысы.

Раиса на людях была сама прелесть, само обаяние. Ах, как она могла прикинуться ангельским созданием! У нее был херувимский голосок с таким оттенком умирающего, издающего последний вздох эфирного существа. Много в ней было природной грации, хрупкости, но это не были ни доброта, ни тонкость, это была порода, биологический тип, шло это от физической ее сущности. Но вместе с ангельским было в ней демонское. Глаза ее были черным-черны, роковые прямо глаза. И женщина она была роковая, опасная. "И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй"... И я боялся подолгу смотреть в ее глаза, начинала кружиться голова, я готов был наделать глупостей. Но с ней нельзя было распускаться, она, как никто, требовала власти, кнута.

Она, конечно, нравилась мужчинам. Георгий был от нее без ума, откровенно млел, пел дифирамбы. Она тоже льнула к ним, то к тому прильнет, то к этому. Она вела свой сексуальный поиск, свою разведку. Льнула она буквально, с этой своей непередаваемой грацией, изогнувшись и наклонив головку. Бывал у Светловых

наш прелестный батюшка — отец Лев, священник, изгнанный из церкви за бунт. Раиса и к нему прильнула, огненная его борода не оставила ее равнодушной. Хотела даже дочь у него крестить, с целью сближения. Я смеялся, догадываясь о причинах ее внезапной религиозности. Она сердилась, обличала мое безбожие. Это, кроме того, был предлог лишний раз ниспровергнуть меня, как писателя.

— Безбожная душа никогда не создаст ничего высокого, — изрекала она очередную пропись, недвусмысленно метя в меня.

— Вот уж, воистину, с больной головы на здоровую. Уж не потому ли считала она свою душу божьей, что собиралась крестить дочь? По-моему, у кого душа светлей, тот больше и в Бога верит.

А вот когда я, все-таки, прочитал кое-что из ее писаний, то понял, что именно в ее душе царила беспросветная кромешная темень. Я прочел три ее небольшие вещи — одну повесть и два рассказа. Это было во время ее бегства из дома. Я был косвенно причастен к этому бегству. Отношения наши оставались неопределенными, зашли в тупик. А Раиса хотела определенности, как всякая женщина, имеющая виды. Я же, утвердился окончательно в своем нежелании сближаться с ней всерьез. Видел уже и дикую ее необузданность, своеобразие и гордыню, и кошачью ее неуживчивость, и многое другое, и понимал, что не только не смог бы жить с ней какой-то приблизительный срок, но не выдержал бы и двух дней. Надо сказать, что посещал я ее довольно редко и просиживал сравнительно недолго /приходил, главным образом, по делам/. Но даже эти редкие и непродолжительные визиты становились для меня все тягостнее, от обеих — от мамы и дочери — веяло чем-то тяжелым, утарным, я бы даже сказал — отравляющим, вурдалачьим.

Словом, терпению ее приходил конец. Амазонка, из последних сил терпевшая постыльный мир, рвалась в бой. Но со мной она еще не хотела открытой войны, еще надеялась, зато она могла броситься на других, на тех, кто был рядом — родителей, соседей. Она и так вела с ними постоянную войну, хотя, конечно, винить ее в этом нельзя. Не она была виновата. Тут вообще нет виноватых. Впрочем, есть. Те, кто изобрел коммуналки. Я бы их туда, до самой гробовой доски, другого наказания не надо.

Что касается родителей, то тут любой психолог может подтвердить, что ненависть пасынков к усыновившим их — скорее, правило, чем исключение. И никакие сверхзаботы не в состоянии ничего изменить, скорее наоборот. Раиса с самого первого дня удочерения жила как у Христа за пазухой. Старики до самого последнего дня обеспечивали и кормили ее и ее дочку.

— Значит, им это выгодно, приятно, — говорила она. — Они не для меня это делают, а для себя. Она не верила в человеческое бескорыстие, во всем видела эгоизм. Она чувствовала свою зависимость, чувствовала себя в долгу, что-ли. Кроме того, старики были евреями, а она русская, и это было ей неприятно.

И вот, неопределенность со мной, моя увертливость, она ведь уже настроилась на жизнь вдвоем, тоскливость ее существования, особенно ощущаемая именно теперь, довели ее до крайности, и последней каплей было мое исчезновение. Не помню, заболел ли я или взял тайм-аут? Она ждала-ждала и не выдержала. Напала на соседей, напала на родителей, старика-отца так треснула, что он растянулся и разбил себе голову. После этих подвигов, схватила дочь в охапку и ушла из дома. Родители с ума сходили, особенно из-за внучки.

Я тоже всполошился, узнав о происшедшем, хотя совсем по другой причине. За жизнь ее я, конечно, не беспокоился, просто решил, что она ушла, как сказать, к другому. Я страдал от ревности, упрекал себя в бесчувствии и в несправедливости. Мне было жаль ее, я понимал ее страдания.

— Нельзя так поступать с женщиной, — упрекал я себя. — Мне, старому, прожженному хрычу следовало знать, чем кончаются подобные игры. Я остро почувствовал ее одиночество, ее борьбу, мужество маленькой одинокой женщины. Муж, недавно ее бросивший, был ничтожеством, но все равно, она болезненно переживала его уход. Я упрекал себя за нечуткость, за бестактное, порой, поведение, бросал бывало ее среди улицы, не доведя до дома, сославшись на нездоровье. Спешил уйти поскорее, а ей так этого не хотелось, не хотелось оставаться в одиночестве. Упрекал и за то, что спорил бескомпромиссно, высказывался откровенно, не учитывая женской ее природы, не делая скидок на слабость, на нервность, столь ей свойственную. Почему бы не промолчать, не слукавить даже, как и полагается сильному и велико-

душному? И девочку обижал, ну, подумаешь, сделает больно, укол там, или порежет слегка, руки ведь не отхватит напрочь, ни даже пальца самого распоследнего, мизинца, скажем. И уж не видел горящих красным, свирепым огнем глаз девочки, а видел милую, потешную и лукавую ее мордашку, испытывая даже какую-то нежность. И снова поманило меня в шалаш, запах чечевичного варева из чугуна приятно защекотал ноздри.

Бросился на поиски, обошел всех знакомых, обзвонил кого мог — напрасно. Беспокойство мое и ревность все возрастали. И вот, когда я пришел к Надежде Михайловне справиться о Раисе, то наткнулся на ее рассказы. Набросился с жадностью, как бы ища разгадку тайны пропавшей сочинительницы.

Что сказать о прочитанном? Ощущение было двойственное. Сделано было добротное, в повести /с мифологическим сюжетом/ обнаруживалась недюжинная фантазия, выдумка. Но все три вещи составляли очень неприятный осадок. Это не только мое мнение, все, кто читал эти вещи, чувствовали то же самое. От мифологической повести веяло каким-то смертным холодом, безотрадною могилы, гробовой безнадежностью. Таков был и сюжет, и дух вещи. В самом маленьком рассказе речт шла о зверском избиении одного парня хулиганами. У меня едва достало сил, чтобы дочитать до конца. Велся рассказ от имени хулиганов, участников этого кровавого дела, с подробностями, со смакованием. Страшная вещь, хоть и маленькая! И последняя, более пространный, — тоже страшная. Вещь автобиографическая, описана паучья банка, то есть, коммунальная квартира, их квартира. Попутно освещена как бы жизнь молодой женщины, главной героини. И опять жуткая мораль. Женщина не борется за свое достоинство, а целиком отдается паучьей морали, тонет без остатка, и даже со сладострастием в паучьей банке. "И попался он в стакан, полный мухоедства". Финал рассказа: героиня посылает пламенный плевок в кастрюлю соседки.

Когда впоследствии я рассказал ей о впечатлении от этого рассказа, она ответила, что время, мол, такое, люди нынешние — продукт времени. "На зеркало неча пенять, коли рожа крива", — ответил я мысленно. Опять я вспомнил Достоевского, слова Кармазинова: "Ничем так нельзя прельстить нашего человека, как правом на бесчестье". Да, в ней чувствовалось это сладострастие падения, нежелание подняться, и мой порыв был совершенно бес-

смыслен. Она отвергла бы помощь, предложи я ее — из гордости, и из нежелания подниматься.

Неприятными были в этом рассказе и откровения героини. Больно уж они были бесстыдны. Женщина не должна раздеваться догола, это всегда отталкивает. Чувствовалось, что обнажения эти сделаны не без умысла — это было, как-бы приглашением к любви, физической, разумеется. Кое о чем я догадывался и раньше. Но только прочитав этот рассказ, понял, какой сексуально-озабоченной была она, как настойчиво и неутомимо вела сексуальный поиск. Пожалуй, это была ее навязчивая идея. И то сказать, женщине стукнуло тридцать пять лет. Она специально подбросила этот рассказ Надежде Михайловне, в доме которой бывали мужчины. Авторское самолюбие само собой, а это само собой.

Ее стиль, язык мне тоже не нравился. Заумный, неоправданно переусложненный. Она подгоняла его под свою теорию, а та, в свою очередь, диктовалась ей её природой, то есть, в конце концов, тоже имела происхождение сексуальное. Рискую быть обвиненным в фрейдизме, но женщина отождествляет ум с жизненной энергией, с мужской силой. Кроме того, Раиса была прилежной ученицей по натуре.

"Три дня купеческая дочь Наташа пропадала".

Я стоял в противоположном конце длинного коридора квартиры Светловых, когда она вошла в парадную дверь. Увидев меня, обиженно надула губки, задрала гордо и вызывающе голову и пошла в атаку, держа за руку дочь. Смешно и трогательно было видеть эту воительницу — маленькую, тонкую, колеблющуюся из стороны в сторону, грациозно и бессильно поматывающую головкой, с решительной поступью и inferнальным пламенем в глазах.

Объяснила, что была у знакомых. Сидела, на меня не глядя, с обиженным и индифферентным видом. Я глядел на нее с истосковавшейся жадностью. Она была подчеркнута нежной с Григорием, он, конечно, испытывал огромный кайф, взвизгивал поминутно. А я ревновал.

Потом я провожал их домой. Было жаль ее чего-то, она так лелеяла свою девочку, так заботилась о ней, трогательно было смотреть на них. Они были одни в мире. Слабая маленькая женщина и ее малолетняя дочь, больная, психически ущербная.

Надежда Михайловна выходила на большую дорогу диссидентства. Стала бывать в Москве, познакомилась с элитой, стала своего рода связной между Москвой и Ленинградом. Раису она тоже подключила к активной деятельности. Еще раньше Раиса помогала Ушакову издавать журналы. Мне она тоже помогала, печатала, исправляла ошибки, грамотей я не шибкий. Прошу прощения за невольную рифму.

О нажды мы засиделись допоздна, исправляя рукопись. Вдруг я брякнул: "Может, я останусь?"

Это было для нее неожиданностью. Все нормальные сроки давно прошли. С самого начала нашего знакомства она была очень холодна, горда, строга, держалась на более чем почтительном расстоянии, и я, как человек тоже самолюбивый, соблюдал эту дистанцию. А тут вдруг не знаю, что на меня нашло.

Итак, она растерялась от неожиданности, заговорила невпопад, сказала, что положить негде, потом, что бабка строгая. Я смеялся, говорил, что все это пустяки, но ушел не солоно хлебавши, она не была готова к принятию такого предложения.

На другой день она была совсем другая, нарядная, приподнятая. Я понял, что сегодня она будет благосклоннее. Весь вечер она меня очаровывала, пела, играла на гитаре и глаза ее блистали и манили, как глаза райского змея. Но потом она вдруг стала грубить — этакий досадный, неосознанный торг тривиальной самочки перед сдачей, такая плебейская дешевка. Я разозлился, и когда, как пишут в старинных романах, пробило двенадцать, вежливенько поднялся и стал прощаться.

Она была гордая женщина и она улыбалась. Но как! Жалость пронзила меня. /Ну и фразу отмочил!/ Но было уже поздно.

Я не являлся несколько дней. Но у нее были мои бумаги и я вынужден был пойти за ними. Прихожу, дома нету, дверь комнаты открыта. Она обычно не запирала ее уходя. Вошел, стал ждать.

Вскоре она явилась. Увидев меня, перекосилась злобно. Я был смущен, не знал, что говорить, как себя вести.

Она была в жалком состоянии, металась, не находила себе места, злоба на ее лице сменилась какой-то потерянностью и крайней беспомощностью, расслабленностью, инфантильностью. Голос потерял все свое очарование, всю звонкость и женскость. Такова была разрушительная сила моего демарша. Без преувеличения можно сказать, что нет более страшного удара для женщины. Самые

твердые из них теряют уверенность в себе, почву под собой. О том, каким нужно быть извергом, чтобы нанести подобный удар, я уж не говорю.

Вдруг Раиса вскочила, достала откуда-то из угла носки и принялась их штопать. Носки были отвратительные, черные, как душа их обладательницы, сплошь в дырах. Я очень чувствительный господин, меня затошнило, мне показалось, что от мерзких этих носков исходит запах. Хотел тут-же вскочить, и бежать, но сдержал себя. В конце концов, не меня она оскорбляла, а себя. Это был плевок в собственную физиономию. Я вспомнил, как когда-то моя матушка, обидевшись на отца за измену, облегчала сердце тем, что резала ножницами его рубашки.

Я стал смеяться. Она оскорбилась. Вскочила.

— Вы неисправимый насмешник и критик. И надо мной всегда подсмеиваетесь и критикуете. Мне это надоело.

— Что ж, не смею более обременять, — сказал я вставая и надевая пальто.

Она подскочила ко мне быстро, импульсивно и стала говорить что-то примирительное. Поняла, что это разрыв, конец, и не хотела этого, больно было. И мне было больно. Но я в этих делах — кремень. Гордыня во мне сидит окающая. Я никогда не делаю первых шагов к примирению, никогда не прошу ни о чем первый. А еще копаюсь в других, Тохтамызов отыскиваю.

Я пошел к двери, обернулся, чтобы попрощаться. Она опять подскочила быстро, быстро взметнулись вверх ее руки в произвольном и мгновенном жесте отчаяния, а лицо выразило муку.

Но поворота назад не было. Я простился и вышел.

— Ничего, утешись с Рожевским, — ревниво и мозахистски злорадствовал я над собой. Рожевский был той рыбой, которая клюнула на блесну, брошенную Раисой у Надежды Михайловны.

— Вот, вы меня все критикуете, а другие хвалят, — укоряла она. — И вам я не дам читать своих сочинений, а им дам.

Спустя примерно месяц, мы встретились с ней у Светловых. Она вела себя так, как будто ничего не произошло, более того, старалась наладить наши прежние взаимоотношения. Пригласила меня на свой день рождения. Я пошел, прихватив бутылку шампанского. Мы мило провели вечер. Она была искренне рада, но прежней близости не было, враждебность, главным образом, с ее стороны,

то и дело прорывалась. Но невзирая на это, я чувствовал искушение, она была очень хороша, нарядна, слегка опьянела. Я все тянул и тянул с уходом. Но напрасно, разве могла она простить мне прежнее?! В два часа ночи она меня неумолимо выпроводила, хотя я говорил, что мне придется ночевать на улице.

Примечательно, что в тот вечер Раиса впервые, зная, что между нами все кончено и желая конечно нанести чисто военный удар, высказалась откровенно, обнажила свое — "какo веруешь". Мораль ее не поражала оригинальностью, еще менее благородством. Ей нужно было выжить вместе с дочкой, просто физически выжить и все тут. Почему она так остро чувствовала угрозу своему существованию? Может быть, ~~воспоминания детства~~ воспоминания детства, когда малышкой извела она голод, холод и всю страшную неуютность сиротства? Вообще, ощущение сиротства, усиливающее эту голую жажду жизни. Я понимал ее и прощал, даже жалел, но она не становилась от этого более привлекательной, тем более, что сопровождалась эти откровения, какими-то вульгарными прихлебываньями и жеваньем. Черт знает, где они берут эти манеры? Стереотип какой-то выскоческий. Может, она привирала? Она ведь, повторяю, осознанно бросала вызов, зная заранее, как я к подобной морали отнесусь, шла, как всегда, в бой.

Прошла зима. Весной, собираясь на юг, зашел проститься. На лицо были явные перемены. И в ней самой, и в ее комнате. Чувствовался, как говорится, мужской дух. Несомненно, это был дух Рожевского. Одинокaя ее кровать обрела признаки брачного ложа. Прежде она стояла рядом с кроваткой девочки, теперь была отодвинута в противоположный конец комнаты, к окну и отгорожена как ширмой, сервантом. И ухожена была, как никогда раньше.

Сама она изменилась не приметно, и вместе с тем явственно. Никаких особенных следов удовольствий, что-ли, на лице ее не отражалось, но оно стало спокойнее, полнокровнее, удовлетвореннее и конечно красивее. Глаза-же, обычно не блестящие, сверкали тусклым, но непередаваемым обольстительным блеском, напоминая глаза эдемской змеи-искусительницы.

Мы тихо и мирно разговаривали, и вдруг девочка ее повела себя несколько странно. Взобравшись на мамину кровать, сняла штанишки, задрала ножки и стала совать пальчик в некое про-

странство между ними, как бы привлекая внимание глупого дяди к этому месту и намекая на то, что ему надлежит делать. Потом повернулась, стала на коленки, выставила попку и в этой позе снова стала совать пальчик. А я-то считал, что мама ее избаловала, сделала непослушной, а она вон как "превзошла науку". Ясно было, что это именно мамина выучка. Потому что девочка, после того, как закончила свои физкультурные упражнения, сказала деловито: "Сегодня будешь у нас спать, на этой кровати".

— Так! Значит мама совсем не отвернулась от нас, — подумал я самодовольно. — Сочла, видно, что отомстила в прошлый раз, выдворив ни с чем. Теперь можно и поиграть. Но не так все оказалось просто. Мама, конечно, хотела взять реванш, но раненое самолюбие было на чеку. Сдуру, я взял прежний насмешливый тон, стал зубоскалить с девочкой. Раиса вспыхнула и прибегла к испытанному пугалу — бабке.

А через несколько дней я уехал. Будучи далеко, в одиночестве, я, если можно так выразиться, долбобливал, дострадывал и доревновывал последние остатки.

Возвратился в начале лета и с великим удовольствием и облегчением почувствовал, что свободен, что любовь кончилась. Решил проверить. Пошел к ней прямо с утра. Она еще спала. Веле-ла отвернуться, пока будет одеваться. Я, конечно, слегка скашивал глаза и она, конечно, это видела, но не неудовольствовала, наоборот, старалась подольше затянуть процедуру одевания. И я узрел ее, как говорится, в натуре. Фигура у нее была очень недурственная, широкие бедра, стройные ножки. Но нет, ничего былого я все равно не ощутил.

Пока я отсутствовал, здесь кое-что произошло. Еще на юге я узнал из ее письма, что у нее была сильная депрессия, едва, мол, выкарабкалась. Я догадывался, что виноват подлец Рожевский. Так оно и было. Бросил ее. Она и теперь еще ~~мощно~~ сильно переживала. И пылала жадой мщенья. Говорила всем, что Рожевский стукач.

Я спросил, какие у нее доказательства. Доказательств не было, конечно, никаких, кроме ее уязвленного самолюбия и раненого сердца.

— Если бы у меня были доказательства, я бы убила его, — говорила она со страстью, сжимая свои маленькие кулачки.

— Ого, здорово он тебя пронял, этот Рожевский! — думал я, стараясь представить себе, что это была за таинственная личность, имевшая такую власть над этой изрядно своевольной и гордой особой. По слухам, это был супермен, покоритель дамских сердец, и тогда все стало ясным. Сама Раиса говорила, что он необыкновенно умен, заслушаться, мол, можно.

3 Еще бы, супермен, да чтобы не необыкновенно умен! По специальности парапсихолог. — Ой! Супермен, да еще парапсихолог! Бедная Раиса! Поиграл и к другой в постельку. Ты ведь уже не очень молода, да и характер не таков, чтобы надолго задержаться можно было.

Второе событие — исчезновение Георгия Светлова, якобы, в ~~Москву~~ Москву, на самом деле, конечно у Раисы. Судите сами, она приходит к Светловым, он идет ее провожать и не возвращается. Его разыскивают, а через три дня он объявляется и говорит, что был в Москве, прокатиться, мол, захотелось. Ха-ха! Кому хочется верить, пусть верит. Озлобленность такой женщины, как Раиса, непременно должна закончиться местью, нанесением зла кому угодно, кто первый подвернется. Подвернулась Неля Светлова, самая открытая и незащищенная. Кроме того, Георгий давно питал к Раисе нежные чувства, а она... она просто женщина, одинокая, брошенная.

Так вот, пришло, значит, долгожданное разрешение, и Светловы стали собираться. Раиса в это время тоже собиралась, имела уже разрешение и визу. Тут самое время вывести на сцену еще одну, с позволения сказать, личность.

Как-то, я зашел к Раисе, ~~р~~ опять утром, забежал на минутку по делу. И вот сидит у нее эта личность. Сцена трогательная, собираются завтракать. Только что встали, видно, она ему из кастрюли что-то накладывает, по-домашнему так, семейственно. Рыло бульдожье, хотя и холеное. Пренеприятнейшее рыло. Это не только мое мнение, пристрастия во мне уже не было и быть не могло. На меня смотрит, конечно, волком, соперника чует. Я не стал при нем излагать свое дело, вызвал Раису в коридор. Когда мы возвратились, бульдог ревниво и ехидно сказал: "Что, насекретничались!"

Вот его-то и стала Раиса тащить с собой за границу, оказывается, дружба у них давняя. До этого она все меня анитировала,

но я вежливо все время отказывался.

Однако, у бульдога были дети у брошенной жены и ему необходимо было выплатить алименты, — сумма весьма солидная. А денег у него не было. Раисе выезд оплачивали родители.

И вот они вдвоем решили облапошить Светловых.

Я уже писал, какой договор был заключен между Светловыми и Надеждой Михайловной. Позднее, и Раиса заключила с ней такой же договор на такую же сумму — три тысячи рублей /на погашение алиментной задолженности дорогого бульдожка/. Но деньги Светловых уже месяц лежали в Москве, дожидаясь, когда нерасторопные хозяева приедут и возьмут их, тогда как деньги Раисы и бульдога были еще, что называется, в проекте. Когда еще поступят... И нетерпеливая пара решает все просто — хапнуть деньги Светловых, авось те еще месяц будут чухаться. За это время и за границу смотаться можно, ищи-свищи. А если не успеют, оправдаться несложно. Перепутали, мол, нам ведь тоже обещали. Так сказать, вместо своего кармана, влезли по ошибке в чужой. Сказано—сделано. Пара была решительная. Перед отъездом Раиса мне позвонила, сообщила, что собирается в Москву, нет ли у меня поручений. Я поблагодарил, сказал, что есть, но несрочные, отдам Светловым, когда поедут. Она стала горячо просить, чтобы не говорил об ее поездке Светловым. Я удивился, но не придал значения. Так они благополучно уехали и благополучно свершили свое черное дело.

Дня через два прихожу к Светловым. Там все кипит. Оказывается, Неля только что вернулась из Москвы. Поехала буквально следом за ними, не зная, что они едут.

— Как-будто кто толкнул, — рассказывала она. Месяц сидела, не беспокоилась, а тут сорвалась, будто дернули.

Но опоздала. Женщина, у которой хранились деньги, сообщила, что буквально час назад явились двое — мужчина и женщина — якобы, по поручению ее — Нели, и попросили деньги. Она заколебалась, но они так горячо, так искренне уверяли, что она отда-
ла.

Всех добреньких защитников оперативной пары /а их было достаточно, сразу, после случившегося и теперь/ я отошлю к этому единственному факту, к неопровержимой улике. Они просили не свои деньги, а деньги Светловых!

Убитая Неля поплелась обратно на вокзал, чтобы ехать домой

ни с чем. И наткнулась на них нос к носу.

— И я, и они обомлели, рассказывала она. — Потом они стали что-то невпопад говорить, а я, дура, стояла и молчала, парализованная их наглостью, и так и дала им уйти с моими деньгами.

Я рассвирипел. Крыл отчаянным матом. — Где они? — кричал. В том-то и дело, что их не могли найти. У Раисы их не было, туда всё время звонили. Тут пришел отец Лев и тоже рассвирипел, аки лев. Матом, правда, не крыл, не подобает, не приличествует сану. Было уже поздно. Мы разошлись.

Утром Светловы и отец Лев поехали к Раисе, но не застали и рассказали все родителям. Те пришли в ужас. Я узнал телефон бульдога. Позвонил. Он стал вилять. Она сидела рядом, я слышал, как они переговаривались вполголоса. В конце-концов, вынудил их к встрече, для чего пришлось сдипломатничать, сказать, что по поводу рукописи. Той самой, военной, которую Раиса раскритиковала. Теперь она изменила свое мнение, хотя и с оговорками. Еще бы, при таком самолюбии! Бульдог был от повести в восторге.

Я высказал им всё. Защищались нагло, особенно она.

— Вы подумали, у кого взяли деньги? — напирал я. — У Светловых!

— А кто такие Светловы! — злобно, высокомерно и вызывающе отпарировала она.

Конечно, для этой графоманки люди нетворческие, как любила чваниться она, были навозом, ничем. А со Светловыми у нее были еще и свои, личные счеты. Григория она считала, наверно, своей собственностью, а Нелю ненавидела, тем более, что была виновата перед ней. И все-таки, надо быть убождком, чтобы не понимать того, что она содеяла и над кем! Над теми, кто добивался самого для себя заветного, без чего жить уже было невозможно, добивался такой ценой, такой кровью!

Нет, я не стал объяснять этого негодяйке.

В общем, я пригрозил им, сказал, что этого им не простят, что там, на Западе, земля будет гореть у них под ногами. Они призадумались и рассудили, что благоразумнее вернуть деньги, пока не поздно, пока дело не получило громкой огласки.

Добренькие Светловы тут-же их простили, заключили в благородные объятия и все было предано забвению. А еще вчера Георгий говорил мне конфиденциально, что убьет бульдога. Я подозревал тут не только денежные расчеты.

И вот подошел Новый год. И случилось так, что его, как и предыдущий, я встречал в обществе Раисы. Я был приглашен в несколько мест, но, честно говоря, ехать мне никуда не захотелось, к тому же и самочувствие, как всегда, было ~~плохим~~ скверное. Я дотянул до без четверти двенадцать, все не мог решить, куда же пойти. И поехал к Светловым, там, казалось всех веселее, теплее и непринужденнее.

Опоздал, конечно, уже бокалы были подняты не по одному разу. Раиса была там. Сидит, как ни в чем ни бывало, этакое кроткое, ангельское, прелестное создание. Батюшка был тут, правда, скоро ушел. Были еще люди. Был Георгий Марков. Я знал его мало, видел несколько раз у Светловых. Он был художник-декоратор, работал в театре. Он производил впечатление человека интересного, не чуждого интеллекта, и такого, что-ли, себе на уме. Событий худощав, высок, черты лица тонкие, пожалуй резковатые, лысинка довольно заметная. Я бы сказал, что малый несколько даже хлющеватый, но в хорошем смысле. Наверно, на женщин привык производить впечатление. Глядя на него, я всегда отмечал удивительное сходство, прежде всего, внешнее, но, как мне казалось, и внутреннее, между ним и Раисой. Я даже удивлялся, как они до сих пор не сблизились, настолько они казались созданными друг для друга, потому что человек чаще всего ищет в другом подобное себе. У них были одинаковые овалы лиц, одинаковые носы — остроконечно вздернутые, очень похожими были глаза, хотя у него они синие, у нее — черные. Сходным был и некий мрачный огонь, горевший и в тех и в других глазах. Даже сутулостью спин они походили друг на друга. Чем-то Георгий был похож на другую женщину, на Лидию Воздвиженскую. Пожалуй, резкостью черт, у Раисы они были мягче. И, кстати, с Лидией он был в свое время близок.

И вот, встречая Георгия в пору своей влюбленности в Раису и видя их сходство, я заранее ревновал и просил судьбу хотя бы отсрочить их неизбежную роковую встречу. Зато позднее, когда охладел, ловил себя уже на этих своднических призывах, уже потирапливал медлительную фортуна. И в ту новогоднюю ночь я, как некая насмешливая Кассандра, был зрителем провиденного мной и даже набросанного вчерне действия.

Я не жалел, что пошел встречать Новый год к Светловым.

Было очень весело, все мы были свои, очень свои в тот вечер, бывшие распри были забыты, мы были спаяны в одну диссидентскую семью. Пили, пели, потом танцевали. Большая елка была очень красива, милый Сашенька постарался, наделал всяких украшений. Особенно хороши были бумажные фонарики. Георгий был остроумен, ухаживал за Раисой, был куртуазен — галант, галант. Должен признаться, что женщины редко могли добиться от меня подобного обращения. Впрочем, невзирая на это, я, все-таки, не могу пожаловаться на их невнимание. Пожалуй, она и в этот раз хотела вернуть наши бывшие отношения. Но когда начались танцы и я имел бестактность отказаться от ее приглашения /я не могу танцевать из-за болезни, да и не умею/, она попала в объятия Георгия и уже не выходила из них. И все оглядывалась на меня, дразнила, спрашивала: "ну как?" Да мне было наплевать, честное слово. И она, видя, что я беспечно, даже одобрительно смеюсь в ответ на ее поддразнивания, злилась, досадовала и еще теснее вжималась в Георгия, висела прямо на нем.

А потом они ушли, не дождавшись утра. Может, я, все-таки, ревновал, глядя на это? Клянусь, нет! Может быть, чуточку, самую малость досадовал. Столько был знаком и так и не оскоромился. А Георгий сразу — пришел, увидел, победил.

Потом были сборы, и у Светловых, и у Раисы. Деньги для своего бульдога она не получила и была вынуждена ехать одна. Как уж они ее делили — бульдог и Георгий — не представляю.

Вечером, накануне ее вылета, я зашел к ней проститься. Никаких отъездных она не устраивала. Может, жалела деньги, а, может, стыдно было людей после того поступка.

Там были бульдог и Элефант, приканчивали бутылку и куда-то спешили по ее делам. Я посидел немного, девочка меня слегка поколола, пощипала на прощанье, и я удалился. Только вышел из дома, навстречу Георгий. Идет стремительно, в глазах тоска и беспокойство. Меня не видит. На другой день она улетела.

Родители очень тяжело переживали ее отъезд, расставанье с внучкой, к которой они были очень привязаны. Бабка особенно переживала. Обоим старикам было уже за восемьдесят, были они кругом больны. Бабка очень устала от сборов, вся их тяжесть легла ей на плечи. Когда они улетели, бабка слегла.

Я навестил их вскоре. Бабка лежала, дед был жалкий, слабый,

трясущийся, изможденный. Снова они остались одни. Рассказывали про Раису, про ее детство. Они взяли ее из сиротского приюта, где царили нравы джунглей, где слабых топтали и отнимали еду. Девочка была изголодавшаяся, напуганная. Старушка рассказывала, как они старались залечить у ребенка эти страшные рубцы, как ласкали, кормили, лелеяли. Но долго еще девочка не могла избавиться от прошлого, даже когда наедалась досыта, прятала остатки еды под матрасик или зажимала в кулачок.

В самый день тот, когда улетела Раиса, была отвальная у Светловых. Народищу было невпроворот. Весело, шумно и как обычно на диссидентских отвальных — несколько экстравагантно, будто стоя шакалов, рвущих друг у друга бутылки.....

На другой день всей гурьбой пошли на вокзал, — провожали Светловых. Они ехали поездом до Вены. Все толпились, рвались к отъезжающим, сказать прощальные слова, пожелать счастья, поцеловать в последний раз. У вагона образовали такую густую толпу, что не только работника некоего ведомства, но и всем прочим невозможно было пробиться. Фотографировали, смеялись, обнимались, плакали. Очень жаль было расставаться, очень пусто стало. Это было наше последнее прибежище, единственное место, где мы могли встретиться все вместе и поговорить по душам.

.....